

*Piotr Fast*

Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera, Kraków

## ПРИБРЕТЕНИЯ ОТТЕПЕЛИ — ИСТИННЫЕ И МНИМЫЕ

Период оттепели — один из самых значимых переломных моментов в культурной жизни Советского Союза в послесталинское время. Сегодня уже никто не сомневается в том, что «русская литература в эти годы была сильно связана с общественно-политическим контекстом [...]»<sup>1</sup>, существенным проявлением которого была государственная эстетика, внедряемая в стране в течение длительного времени под лозунгами социалистического реализма. Первые симптомы перемен, направленные на пересмотр соцреалистического канона, привели к переоценке доминирующей и санкционированной политическими установками модели литературы<sup>2</sup>.

Припомним вкратце формы проявления этих процессов. Прежде всего следует сказать об активности литературной критики. Если ранее она руководствовалась общепринятыми, внедряемыми культурной политикой стандартами литературного произведения, где доминировали теория бесконфликтности и принцип лакировки действительности, то теперь критика начинает пропагандировать новые лозунги, находящие отзвук в литературной практике.

Новые тенденции, отвергающие соцреалистический канон (хотя они, конечно, ни в коей мере не считаются формами протеста против государственной эстетики), появляются в ряде статей, среди которых следует назвать прежде всего статью, опубликованную в 1954 году в «Новом мире» — *Люди колхозной деревни в послевоенной прозе*, где автор «восстал против тенденциозно идиллической литературы о деревне, против сглаженных конфликтов и упрощенных характеров, ратовал

---

<sup>1</sup> *Historia literatury rosyjskiej XX wieku*. Red. A. Drawicz. Warszawa: PWN 2002, s. 433.

<sup>2</sup> См. на эту тему исследование: S. Poręba: *Rosyjska powieść radziecka w latach 1953–1956* (Katowice: Wyd. UŚ 1977).

за подлинную неприкрашенную правду»<sup>3</sup>. Огромный эффект произвела появившаяся годом ранее в том же журнале статья Владимира Померанцева *Об искренности в литературе*, главный лозунг которой стал чуть ли не самым важным воззванием, обращенным критикой к современной литературе. Искренность трактовалась как важнейшее требование, адресованное писателям, и понималась как панацея от всех болезней, характерных для литературы социалистического реализма. Немаловажную роль сыграла также опубликованная в «Литературной газете» в 1953 г. статья Ольги Берггольд *Разговор о лирике*, отстаивающая право писателя на самовыражение. Существенное значение для формирования нового мировоззрения критики имели и работы Марка Щеглова „*Русский лес*” Л. Леонова (1954), *Реализм современной драмы* (опубл. 1956), *Верность деталей* (опубл. 1957), *Очерк и его особенности* (опубл. 1958). Выявление и определение характера «болезни» литературы послевоенного десятилетия, провозглашение искренности и требование права на самовыражение становятся самыми значимыми вехами происходящих перемен. При этом первый этап перемен, начавшихся в литературном процессе не столько на уровне идеологии, сколько на уровне структуры, можно обнаружить уже внутри самих литературных произведений.

Своеобразным полигоном оттепели стал деревенский очерк. Карьера этого жанра в середине 50-х годов была результатом творческой активности нескольких писателей. В первую очередь здесь следует назвать имя Валентина Овечкина, автора *Очерков колхозной жизни* (1953, 2-е изд. 1954) и *Районных будней* (1956). Наряду с Овечкиным жанр очерка, называемого по сегодняшний день «овечкинским», популяризовали Ефим Дорош (*С новым хлебом* — 1952, *Деревенский дневник* — 1958), Елизар Мальцев (*Войди в каждый дом* — кн. 1: 1960), Гавриил Троепольский (*Из записок агронома* — 1953) и другие авторы. Очеркисты привели к серьезным преобразованиям литературной модели<sup>4</sup>, преобладавшей в русской литературе послевоенного десятилетия. Эти перемены, как показал Станислав Поремба, с одной стороны, заключались в персонализации литературных форм, а с другой — в эволюции проблем, которые ставились писателями в центр внимания, т.е. в своеобразной «перепроблематизации» и новой интерпретации действительности, воплощенной в художественных произведениях. Одним из проявлений нового литературного стиля стала перемена формы повествования: аукториальную форму всезнающего рассказчика

<sup>3</sup> <[http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a\\_uid=74](http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=74)>.

<sup>4</sup> См. об этом указанную выше монографию Станислава Порембы.

замещает новая модель субъективной вероятности повествователя, опирающаяся на личный опыт якобы реального автора, на использование им конвенции искренности высказывания<sup>5</sup>. Преобразования деревенской прозы, выразившиеся в субъективизации текста, стали действительно началом новой литературной эпохи, и в таком смысле можно говорить об оттепели как о переломном явлении.

Однако, с другой стороны, что абсолютно удивительно, самые главные произведения, ставшие иконическими для эпохи, такие, как *Оттепель* Ильи Эренбурга и *Не хлебом единым* Владимира Дудинцева, с точки зрения поэтики, не имеют ничего общего с достижениями «овечкинско-го» очерка и другими, формирующимися в это время, литературными жанрами. Как ни странно, произведения, которые оказали тогда самое большое впечатление на читающую публику и которые с сочувствием были восприняты критиками, чуть позже стали объектом агрессивных нападков со стороны комментаторов, инспирируемых органами, определяющими характер культурной политики. Все это выглядит парадоксально: деревенская проза, которая начала настоящие перемены в литературном процессе (и, кстати сказать, далеко не всегда воспринималась положительно), была принята официальной критикой; а те произведения, которые в широком восприятии оценивались как наиболее радикальные проявления оттепели, были отвергнуты. Понятно, что органы, осуществлявшие культурную политику (в Советском Союзе, несмотря на некоторые проявления свободы, по-прежнему доминировали давно установившиеся идеологические критерии), одобрили деревенскую прозу, создававшую новый литературный стиль, критически описывавшую внешние недостатки общественной жизни, касающиеся в основном будней советского человека, сосредоточивая при этом внимание на явлениях из сферы традиционных обычаев. Авторы же собственно «оттепельных» повестей поступали по-другому: они принимали критику партикулярных, вроде бы, единичных событий, но одновременно придавали им ранг явлений показательных, стандартных для общественной жизни эпохи. Диагнозы, появляющиеся в *Оттепели* и *Не хлебом единым*, касаются более глубоких проблем, чем внешние проблемы поведения советской номенклатуры послевоенного периода. Эренбург и Дудинцев пытаются показать, что описываемые ими явления имеют не единичный характер, но являются структурной чертой

---

<sup>5</sup> Я пишу не столько об «искренности», сколько именно о «конвенции искренности», поскольку спонтанная, опирающаяся на биографический опыт правдивость первых произведений оттепели почти сразу была подменена литературной игрой в искренность и стала использоваться для внелитературных целей, так же как предыдущая «аукториальная вероятность».

системы. Таким образом, они выражают свое критическое отношение не столько к конкретным проявлениям злоупотребления властью, сколько к бюрократии как явлению системы.

В то же время, и это чуть ли не самое характерное явление советской оттепели, писатели не стремятся к политическим обобщениям и не пытаются ниспровергать фундамент общественно-политической системы. Я понимаю абсолютную невозможность такого акта храбрости; он находился еще в то время вне воображаемых возможностей. Однако следует отметить, что главные произведения оттепели, предпринимая критику некоторых проявлений волюнтаризма власти в СССР послевоенного периода, показывают их как явление повсеместное, в то же время не связывают их с облигаторно обуславливающими чертами политической системы. Таким образом, критика некоторых явлений общественной жизни становится, в конце концов, методом консервирования идеологической системы. Характерно, что основные оттепельные произведения написаны в духе обязательной для того периода теории бесконфликтности, использующей форму «всезнающего» повествования, а также способ безапелляционно вероятной оценки действительности, осуществляемый авторитетным повествователем. При этом почти не используется наметившаяся в деревенской прозе персонализация способа мышления и повествования.

Исходя из отмеченного, можно считать, что т.н. оттепельные повести выполнили роль промежуточного звена, отвергая арбитражную положительную оценку действительности, характерную для предыдущего периода, заменяя ее критическим подходом к некоторым явлениям общественной действительности. Они не создают пока новой проблематики, не вводят новых литературных форм, поэтому их, по-видимому, можно считать поверхностным проявлением оттепели, отвечающим на общественный запрос, требующий внимания к эмоциональной сфере жизни индивида, а также некоего критического подхода к способу реализации прерогативов власти (в частности негативной оценки поведения власть имущих). Кажется, что таким образом «оттепельные» повести в большей степени выполнили функцию клапана безопасности в общественной жизни, чем стали выразителями новых художественных идей.

Принимая во внимание вышесказанное, с моей точки зрения, серьезно о роли оттепели в дальнейшем развитии российской культуры следует говорить не столько в контексте самих нашумевших произведений этого периода, сколько в контексте идей, выдвинутых литературной критикой, и тех преобразований, к которым привела трансформация деревенского очерка. Художественными последствиями этих тенденций стала, как

это уже отмечалось, персонализация форм повествования, радикально переменившая, с одной стороны, реляции между литературой и читателем, а, с другой, создавшая новую доверительную манеру повествования, опирающуюся на личный, отсылающий к реальной жизни опыт автора. Следующим элементом нововведений, появившихся в деревенской прозе, стала новая модель героя, что привело к нарушению иерархического порядка проблем, затрагиваемых литературой. Вместо выверенной идеологической проблематики, служащей формированию положительного отношения к политической системе и ее функционеров, появляются элементы этической проблематики, связанной с личной ответственностью героев, независимо от их роли в структуре общества. Такой сдвиг появляется в повестях середины 50-х годов, использовавших достижения деревенского очерка. Эти повести строятся согласно упоминавшимся принципам персонализации и опираются на жанр литературного очерка, имеющего непосредственную связь с реальной действительностью, реальными персонажами, реальным автором-повествователем и т.п. Господствующий в литературе этого рода формальный миметизм следует понимать как новую литературную конвенцию, выработанную деревенским очерком и подражающую принципу референциальности изображенной действительности по отношению к реальной жизни.

Лучшей иллюстрацией указанного могут послужить, например, произведения Галины Николаевой *Повесть о директоре МТС и главном агрономе* (1954) или Владимира Тендрякова (*Падение Ивана Чупрова* — 1953; *Ненасстье* — 1954; *Не ко двору* — 1954; *Тугой узел* — 1956; *Ухабы* — 1956). Реальная искренность документальных жанров заменяется здесь литературной формулой искреннего слова, в котором повествование от первого лица становится залогом правдивости рассказываемой истории, а личный опыт рассказчика гарантирует правильное понимание ее смысла.

Субъективное свидетельство как принцип доверия к рассказчику приводит к следующему существенному шагу, который сделала литература в конце 50-х–начале 60-х годов. Этим шагом оказывается появление прозы, предметом которой становится уже не описания квази-реальной действительности, а последствия контакта с действительностью, вызвавших субъективные переживания героя-повествователя. Я имею в виду т.н. лирическую прозу, где центр тяжести переносится с изображения наблюдаемой рассказчиком действительности на его эмоциональные реакции, порождаемые ею. Такого рода субъективизация имеет очень важные последствия для дальнейшей эволюции литературного процесса, т.к. открывает глубоко запрятанную правду о пришедших

вместе с оттепелью перемен, касающихся прежде всего эволюции художественных форм, а не каких-либо иных измерений. Я имею в виду факт — можно сказать трагический — активное перенесение пропагандистских идеологических устремлений литературы, навязываемых сверху, на личные устремления конкретных писателей, занимавшихся политграмотой по субъективным побуждениям и использовавших при этом формулу искренности в построении текста, предлагая читателю насыщенное субъективной эмоциональностью произведение как личное свидетельство идеологической веры. Так выглядит, например, с моей точки зрения, огромнейшая трагедия Ольги Берггольц, которая, пережив страшные 30-ые, блокаду и давление послевоенного десятилетия, становится в *Дневных звездах* апологетом официальной идеологии и пропагандирует с эмоциональным надрывом официальную политическую ложь. Этот случай почти так же показателен, как и история созданного Оруэллом героя, который в конце своего пути не только рационально одобряет окружающую его действительность, но и пропитывается искренней любовью к диктатору. Пример Ольги Берггольц, которая пишет абсолютно искренне, кажется мне самым трагическим проявлением эффективности сталинской пропаганды, приводившей к полной субъективной интернализации политического официоза. На мой взгляд, это яркое доказательство мнимости политических перемен, которые якобы принесла с собой оттепель.

Вместе с тем крайняя субъективизация повествовательных форм и постепенное перенесение центра тяжести литературного произведения во внутренний мир героя привели к самым существенным сдвигам в системе ценностей, которые воплотились в литературе последующих десятилетий. Развитие возникшей на основе овечкинского очерка деревенской прозы — с ее персонализацией повествования (доведенной до предела лирической прозой) и переменной модели героя — ведет к постановке этических проблем в литературе, что в результате составляет базис для экзистенциальной проблематики, появляющейся в середине 60-х годов. Но это уже другой рассказ.

Заканчивая эту беглую характеристику сути и последствий оттепели, следует подчеркнуть, что это явление, принесшие важные смещения в области литературы и давшее многим жителям советской России надежду на существенные перемены в общественной жизни (что было связано также с реабилитацией многих репрессированных), по сути дела не повлияло на идеологические основы жизни страны, оказываясь лишь внешней переформулировкой дискурса власти. Перемены в общественной жизни, принесенные оттепелью, стали не больше, чем формой самозащиты власти, открывающей для себя клапан безо-

пасности в момент культурной активизации общества. По сути дела, даже эта сфера свободы оказалась лишь средством консервирования идеологической системы, она создавала скорее некую видимость свободы, служащую легитимизации власти. Проявлением истинных намерений власти стал хотя бы тот факт, что доклад Хрущева *О культуре личности и его последствиях*, зачитанный на ночном заседании XX Съезда КПСС, был опубликован только в 1989 году. А чтобы явственно понять, что «отепельная» свобода по сути своей свобода мнимая, хватило дождаться 1 декабря 1962 года — визита Хрущева на выставке абстрактного искусства *Новая реальность*.

*Piotr Fast*

#### PRAWDZIWE I POZORNE ZYSKI „ODWILŻY”

##### Streszczenie

Przedstawiając najważniejsze fakty wpływające na ewolucję literatury rosyjskiej od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku, autor stawia tezę, że odwilż, mimo iż wpłynęła znacząco na ewolucję sposobu problematyzowania świata w literaturze oraz na zmianę poetyki (przekształcenia te określić można jako personalizację form literackich), nie miała ważnych konsekwencji w sferze ideowej i ideologicznej. Niezależnie od rangi przemian w dziedzinie literatury odwilż stanowiła w istocie przedsięwzięcie mające na celu legitymizowanie władzy i konserwowanie dotychczasowego sposobu uprawiania polityki.

*Piotr Fast*

#### THE THAW — REAL AND FALS PROFITS

##### Summary

Describing the most important facts that influenced the evolution of Russian literature since the mid-1950s, the author claims that even though it significantly affected the evolution of the conceptualization of the world in literature and the change in poetics (changes, which could all be described as a personlization of the literary forms), the thaw did not have important consequences in the ideological realm. Regardless of the stature of changes in literature, the thaw was fundamentally an enterprise aimed at legitimizing governmental authority and conserving the then-current method of doing politics.